

● **ПРЕДЛАГАЕТ ПРАЧЕЧНАЯ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ**

Всего за 1 час можно выстирать,
высушить, выгладить 5 кг белья.

В прачечной самообслуживания
Вам предоставят стиральную машину-
автомат, высококачественные мою-
щие средства, оборудование для от-
жима и глажения.

Дома на большую стирку уйдет
полдня, в прачечной самообслужива-
ния — не больше часа.

«БЫТРЕКЛАМА»

ISSN 0132-2095 «Б-ка «Огонек». 1989. № 23. 1—32.



ОГОНЁК

№ 23

1989



Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

СОН О ДОРОГЕ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 23

Издается с января 1925 года

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

СОН О ДОРОГЕ

СТИХИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Левитанский Юрий Давыдович родился 22 января 1922 года на Украине. В 1939 году окончил среднюю школу в гор. Донецке и в том же году поступил на литературный факультет Института истории, философии и литературы (ИФЛИ). В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях под Москвой, был солдатом, пулеметчиком, командиром отделения. Окончил войну под Прагой в звании лейтенанта, после чего принимал участие в разгроме японской Квантунской армии в Маньчжурии.

С 1945 по 1955 год прожил в Сибири.

Основные книги: «Стороны света» (1959), «Земное небо» (1963), «Течение лет» (1969), «Кинематограф» (1970), «Воспоминанье о красном снеге» (1975), «День такой-то» (1976), «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом» (1981), «Избранное» (1982), «Попытка оправданья» (1985), «Годы» (1987).

В 1978 году вышла книга пародий «Сюжет с вариантами».

Много переводил из поэзии европейской и с языков народов СССР. В 1935 году вышла книга «От мая до мая» — стихи поэтов социалистических стран Европы в переводе Ю. Левитанского с предисловием К. Симонова. В свою очередь, стихи и отдельные книги Ю. Левитанского неоднократно издавались за рубежом.

За участие в войне награжден боевыми орденами и медалями.

ВСТУПЛЕНИЕ В КНИГУ

«Кинематограф»

Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.
А потом в стене внезапно загорается окно.
Возникает звук рояля. Начинается кино.

И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной.
Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной!
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса
заставляет меня плакать и смеяться два часа,
быть участником событий, пить, любить, идти на дно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
Он актеру не прощает плохо сыгранную роль —
будь то комик или трагик, будь то шут или король.
О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом
два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты
от нехватки ярких красок, от невольной немоты.
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва
выразительностью жестов, заменяющих слова.
И спешат твои актеры, все бегут они, бегут —
по щекам их белым-белым слезы черные текут.
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Ты накапливаешь опыт, и в течение этих лет,
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно...

Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего кино!
А потом придут оттенки, а потом полутона,
то меньше, та свобода, что лишь зрелости дана.
А потом и эта зрелость тоже станет в некий час
детством, первыми шагами тех, что будут после нас
жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно...

Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак — старый зритель, я готов
занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед камерой стою,
даже тем, что не играю, я играю роль свою.
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,
как сплетается с другими эта тоненькая нить,
где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,
потому что в этой драме, будь ты шут или король,
дважды роли не играют, только раз играют роль.
И над собственной ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

ВРЕМЯ СЛЕПЫХ ДОЖДЕЙ

(Фрагменты сценария)

Вот начало фильма.
Дождь идет.
Человек по улице идет.
На руке — прозрачный дождевик.
Только он его не надевает.
Он идет сквозь дождь не торопясь,
словно дождь его не задевает.
А навстречу женщина идет.

Никогда не видели друг друга.
Летний ливень. Поздняя гроза.
Дождь идет,
но мы не слышим звука.
Лишь во весь экран — одни глаза,
два бездонных,
два бессонных круга,
как живая карта полушарий
этой неустроенной планеты,
и сквозь них,
сквозь дождь,
неторопливо
человек по улице идет,
и навстречу женщина идет,
и они
увидели друг друга.
Я не знаю,
что он ей сказал,
и не знаю,
что она сказала,
но — они уходят на вокзал.
Вот они под сводами вокзала.
Скорый поезд их везет на юг.
Что же будет дальше?
Будет море.
Будет радость
или будет горе —
это мне неизвестно пока.
Место службы,
месячный бюджет,
мненья,
осужденья,
сожаленья,
заявленья
в домоуправленье —
это все не входит в мой сюжет.
А сюжет живет во мне и ждет,
требует развития,
движенья.
Бьюсь над ним
до головокруженья,
но никак не вижу продолженья.
Лишь начало вижу.
Дождь идет.
Человек по улице идет.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОРАНЖЕВЫХ АБАЖУРАХ

В этом городе шел снег
и светились оранжевые абажуры,
в каждом окне
по оранжевому абажуру.
Я ходил по улицам
и заглядывал в окна.
В этот город я вернулся с войны,
у меня было все впереди,
не было лишь квартиры,
комнаты,
угла,
крова.
Снова и снова
ходил я по улицам
и заглядывал в окна.
Под оранжевыми абажурами
люди пили свой чай
с послевоенным пайковым хлебом.
Оранжевые абажуры были моей мечтой,
символом
всей несправедливости мира,
в котором,
как мне казалось
лишь у меня одного
не было никакого пристанища,
комнаты,
угла,
крова.
У меня было все впереди,
все впереди настолько,
что я не мог оценить размеров
своего богатства.
— Скажите, пожалуйста, —
спрашивал я, —
здесь не сдаётся угол? —
А в городе шел снег
и светились оранжевые абажуры,
оранжевые тюльпаны
за тюлевой шторкой метели,
оранжевая кожа мандаринов
на новогоднем снегу.

* * *

Я медленно учился жить.
Ученье трудно мне давалось.
К тому же часто удавалось
урок на после отложить.

Полжизни я учился жить,
и мне за леность доставалось —
но ведь полжизни оставалось,
я полагал,
куда спешить!

Я невнимателен бывал —
то забывал семь раз отмерить,
то забывал слезам не верить,
урок мне данный забывал.

И все же я учился жить.
Отличник — нет, не получился.
Зато терпению научился,
уменью жить и не тужить.

Я поздно научился жить.
С былою ленью разлучился.
Да правда ли,
что научился,

как надо, научился жить?

И сам плечами лишь пожмешь,
когда с утра забудешь снова
не выкинуть из песни слова
и что посеешь, то пожнешь.

И снова, снова к тем азам,
в бумагу с головой заройся.
— Сезам, — я говорю, — откройся! —
Не отворяется Сезам.

* * *

Живешь, не чувствуя вериг,
живешь — бежишь туда-сюда.
— Ну, как, старик? — Да так, старик!

Живешь — и горе не беда.
Но вечером,
но в тишине,
но сам с собой наедине,
когда звезда стоит в окне,
как тайный соглядатай,
и что-то шепчет коридор,
как ростовщик и кредитор
и вьедливый ходатай...

Живешь, не чувствуя вериг,
и все на свете трын-трава.
— Ну, как, старик? — Да так, старик!
Давай, старик, качай права!
Но вечером,
но в тишине,
но сам с собой наедине,
когда звезда стоит в окне,
как тайный соглядатай...

Итак — не чувствуя вериг,
среди измен, среди интриг,
среди святых, среди расстриг
живешь — как сдерживаешь крик.
Но вечером,
но в тишине...

НОВЫЙ ГОД У ДУНАЯ

Камень старинный, башни, мосты, ограды.
Гостеприимны древние эти грады.

Благословенны тихие эти веси.
Колокола воскресные в поднебесье.

Под куполами, золотом, синевою
я с непокрытою шествую головою.

Колокол, солнце, елка стоит, сверкая.
День новогодний — боже, теплынь какая!

День новогодний, теплый, весенний, синий.
А в эту пору снег идет над Россией.

Ветер гудит по нашим великим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Что там за снегом — что он, кого он прячет?
Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет?

Кто там сейчас в лесу над костром колдует,
дует в огонь, в озябшие руки дует?

Господи, дай им солнца, тепла, капли!
Дай, чтоб скорее птицы в лесу запели!

Синью наполни очи лесных проталин!..
К старости, что ли, стал я сентиментален.

Даже не думал, что напишу такое..
Хрустнула ветка где-то в лесном покое.

Скрипнули сани и затерялись в поле.
И никуда не деться от этой боли.

Ветер гудит по северным нашим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

СНЕГ ЭТОГО ГОДА

Из подъезда — и сразу в метель.
Задохнуться от быстрого бега.
В лебединое озеро снега,
в суматошную ту канитель.

Только нынешний снег — не такой.
Он идет мимо нас виновато.
Он лежит, как больничная вата,
и блестит, как приемный покой.

Он смыкается, как западня.
Он спешит, как великий ученый,
тот помешанный, тот обреченный,
обрекающий вас и меня.

Человечество сходит с ума.
Этот снег —

он идет, как расплата.

Нету времени присесть, поговорить,
покалякать, покумекать, покурить.

Нету времени друг друга пожалеть,
от несчастья от чужого ошалеть.

Даже выслушать друг друга — на бегу —
нету времени: Приедешь? — Не могу!

На автобус, на троллейбус, в этот гон,
в эту гонку, в переполненный вагон,

то в обгон, а то вдогонку — на ходу —
в эту давку, суматоху, чехарду,

в автогонку, в мотогонку, в нету мест,
в не толкайтесь, переулками, в объезд,

и в затор у светофора — как в тупик...
Что за время? Наше время, время пик.

Только выхлопы бензина, дым и чад.
Только маятники медные стучат.

Только стрелки сумасшедшие бегут.
Стрелки, цифры, циферблаты, медный гуд.

Словно мир этот бессонный городской
стал огромной часовой мастерской,

часовой мастерской, где со стен
циферблаты всех фасонов и систем,

где безумные живут часовщики.
Спать ложишься — ходят стрелки у щечи.

Стрелки, цифры, циферблаты, медный зов.
Засыпаешь под тиктаканье часов.

И летишь под этим небом грозовым —
как на бомбе с механизмом часовым.

* * *

Были смерти, рожденья, разлады, разрывы —
разрывы сердец и распады семей —
возвращенья, уходы.
Было все, как бывало вчера, и сегодня,
и в давние годы.
Все, как было когда-то, в минувшем столетье,
в старинном романе,
в Коране и в Ветхом завете.
Отчего ж это чувство такое, что все по-другому,
что все изменилось на свете?
Хоронили отцов, матерей хоронили,
бесшумно сменялись
над черной травой погребальной
за тризною тризна.
Все, как было когда-то, как будет на свете
и ныне и присно.
Просто все это прежде когда-то случалось
не с нами, а с ними,
а теперь это с нами, теперь это с нами самими.
А теперь мы и сами уже перед господом богом стоим,
неприкрыты и голы,
и звучат непривычно — теперь уже в первом лице
роковые глаголы.
Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас,
это здесь, а не где-то.
В остальном же, по сути, совсем не существенна
разница эта.

В остальном же незыблем порядок вещей,
неизменен,
на веки веков одинаков.
Снова в землю зерно возвратится,
и дети к отцу возвратятся,
и снова Иосифа примет Иаков.
И пойдут они рядом, пойдут они, за руки взявшись,
как равные, сын и отец,
потому что сравнялись отныне
своими годами земными.
Только все это будет не с ними, а с нами,
теперь уже с нами самими.
В остальном же незыблем порядок вещей,
неизменен

и все остается на месте.
Но зато испытанье какое достоинству нашему,
нашему мужеству,
нашим понятиям о долге, о чести.
Как рекрутский набор, перед господом
богом стоим,
неприкрыты и голы,
и звучат все привычней —
звучавшие некогда в третьем лице —
роковые глаголы.
И звучит в окончанье глагольном,
легко проступая сквозь корень глагольный,
голос леса и поля, травы и листья
перезвон колокольный.

ЯЛТИНСКИЙ ДОМИК

Вежливый доктор в старинном пенсне
и с бородкой,
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы,
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.

Годы проходят, и, как говорится, — сик транзит
глория мунди, — и все-таки это нас дразнит.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.

Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки вьются над желтым огнем.
Дом заколочен, и все позабыли о нем.

Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся — забыли прочесть.
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.

Пахнет грозью, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит —

о, непременно!

Съедутся гости, покинутый дом оживет.
Маятник медный качнется, струна запоет...

Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневого сада.
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом.

Старые ружья на выцветших, старых обоях.
Двое идут по аллее — мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.

СОН О ДОРОГЕ

И еще такой я видел сон.
Люди,
их несметное количество,
все, кто жил на свете до меня,
двести поколений человечества,
в отблесках закатного огня
по дороге
шли
мимо меня.
Люди эти, малы и велики,
выходя из тьмы своих веков,
на себе несли своих богов
темные таинственные лики,
свои стяги
и свои вериги,
груз венков своих,
своих оков,
книги своих пастырей
и книги
вольнодумцев и еретиков,
древние орудия познания,
множество орудий для дознания
и для целей всяческих других,
чаши для куренья фимиама —
словом, все,
с чем шла когда-то драма
их страстей
и верований их.
Как ее разрозненные звенья,
времена смешав и поколения,
шли передо мною Брут и Цезарь

и Марат с Шарлоттою Корде,
армии афинян и троянцев,
якобинцев
и преторианцев,
Азия бок о бок и Европа,
впережку Рим и Карфаген.

И почтенный киник из Синопа,
седовласый старец Диоген,
выступив на миг из полумрака,
поднял свой фонарик над собою
и сказал мне строго:

— Для чего!

И, подобно греческому хору,
тысячи людей одновременно
выдохнули разом:

— Для чего!

Кто-то рявкнул басом:

— Ты ответишь!

И шепнули рядом:

— Ты все скажешь!

Ты нам головой своей ответишь,
если ты не скажешь —
для чего!..

Я хотел ответить,

я пытался,

я кричал,

но звук терялся где-то —

как всегда во сне бывает это,
вымолвить не мог я ничего.

А меж тем

поток уже кончился,

край его вдали обозначался,

и, венчая шествие, качался

одинокий факел позади.

И тогда

над темною дорогой,

где шаги едва уже звучали,

преисполнен гнева и печали,

трубный глас раздался:

— Проходи!!!

И тогда пошел я вслед за ними,
как в конце военного парада
с площади уходят музыканты,
завершая шествие его.

А потом дорога опустела,
лишь трава
тревожно шелестела,
и звезда полночная блестела,
грустно вопрошая:
— Для чего?

ИРОНИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Мне нравится иронический человек.
И взгляд его, иронический, из-под век.
И черточка эта тоненькая у рта —
иронии отличительная черта.

Мне нравится иронический человек.
Он, в сущности, героический человек.
Мне нравится иронический его взгляд
на вещи, которые вас, извините, злят.

И можно себе представить его в пенсне,
листающим послезавтрашний календарь.
И можно себе представить в его письме
какое-нибудь старинное — милсударь.

Но зря, если он представится вам шутком.
Ирония, она служит ему щитом.
И можно себе представить, как этот щит
шатается под ударами и трещит.

И все-таки

сквозь трагический этот век
проходит он, иронический человек.
И можно себе представить его с мечом,
качающимся над слабым его плечом.

Но дело не в том, как меч у него остер,
а в том, как идет с улыбкою на костер
и как перед этим он произносит:

— Да,
горячий денек, не правда ли, господа!

Когда же свеча последняя догорит,
а пламень небес едва еще лиловат,

Господин Голядкин, душа моя,
старый питерский житель,
мой двойник, мой заветный тайник,
мой дневник, не написанный мною,
он стоит на холодном ветру, потирая озябшие руки,
отвечает смиренно и кротко — авось обойдется!

Господин Голядкин, душа моя,
в чем воистину его сила,
не подвержен унынию — все авось, говорит, обойдется,
может, все еще к лучшему,
все еще к лучшему вдруг обернется,
к нам фортуна лицом повернется, судьба улыбнется!

А вьюга́-то, вьюга́ на проспекте на Невском
все пуще и пуще,
а свиные-то рыла за этой треклятой вьюго́ю
уже и вконец обнаглели —
то куснуть норовят, то щипнуть,
то за полу шинели подергать,
да к тому же при этом еще
заливаются смехом бесстыжим.

Господин Голядкин, душа моя,
человек незлобивый и кроткий,
да ведь тоже недолго ему осерчать не на шутку!
Да ведь ежели этак-то дело пойдет,
тут уже и амбицией пахнет!
Сатисфакцией пахнет, а может быть, даже того —
конфронтацией даже!
Тут уж, ежели что, господа, тут такое пойдет,
тут такое начнется!

Тут достанется, может быть, даже
сиятельным неким особам!
Эй, коня господину Голядкину, черт побери,
да кольчугу, да шпагу!
Острый меч господину Голядкину, да поживее!..

Барабаны бьют на плацу, барабаны бьют, барабаны.
Чей-то конь храпит, чей-то меч звенит,
чья-то тень вдоль стены крадется.
Колокольчик-бубенчик звенит вдалеке,
звенит колокольчик.

Только все обошлось бы, о господи, —
авось обойдется, авось обойдется!

ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

- Что происходит на свете? — А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.
- Что же за всем этим будет? — А будет январь.
— Будет январь, вы считаете? — Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот с картинками вьюги старинный букварь.
- Чем же все это окончится? — Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
- Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.

Следует шить, ибо сколько вьюгé ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!

- Месяц серебряный, шар со свечою внутри
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — раз-два-три,

раз-два-три,

раз-два-три,

раз-два-три!

* * *

Я был приглашен в один дом,
в какое-то сборище праздное,
где белое пили и красное,
болтали о сем и о том.

Среди этой полночи вдруг
хозяйка застолье оставила
и тихо иголку поставила
на долгоиграющий круг.

И голос возник за спиной,
как бы из самой этой полночи
шел голос, молящий о помощи,
ни разу не слышанный мной.

Как голос планеты иной,
из чуждого нам измерения,
мелодия стихотворения
росла и росла за спиной.

Сквозь шум продирались слова,
и в кратких провалах затишья
ворочались четверостишья,
как в щелях асфальта трава.

Но нет, это был не пророк,
над грешными сими возвышенный, —
скорее ребенок обиженный,
твердящий постылый урок.

Но три эти слова — не спи,
художник! — он так выговаривал,
как будто гореть уговаривал
огонь в полуночной степи.

И то был рассказ о судьбе
пилота,
но также о бремени
поэта, служение времени
избравшего мерой себе.

И то был урок и пример
не славы, даримой признанием,
а совести, ставшей призванием
и высшею мерою мер.

...Я шел в полуночной тиши
и думал о предназначении,
об этом бессрочном свечении
бессонно горящей души.

Был воздух морозный упруг.
Тянуло предутренним холодом.
Луна восходила над городом,
как долгоиграющий круг.

И летчик летел в облаках.
И слово летело бессонное.
И пламя гудело высокое
в бескрайних российских снегах.

* * *

Всего и надо, что взглядеться, — боже мой,
всего и дела, что внимательно взглядеться, —
и не уйдешь, и никуда уже не деться
от этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться, — боже мой,
всего и дела, что помедлить над строкою —
не пролистнуть нетерпеливою рукою,
а задержаться, прочитать и перечесть.

Мне жаль не узнанной до времени строки.
И все ж строка, она со временем прочтется,
и перечтется много раз, и ей зачтется,
и все, что было в ней, останется при ней.

Но вот глаза, они уходят навсегда,
как некий мир, когорый так и не открыли,
как некий Рим, когорый так и не отрыли,
и не отрыть уже, и в этом вся печаль.

Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,
за то, что суетно так жили, так спешили,
что и не знаете, чего себя лишили,
и не узнаете, и в этом вся печаль.

А впрочем, я вам не судья. Я жил как все.
Вначале слово безраздельно мной владело.
А дело после было, после было дело,
и в этом дело все, и в этом вся печаль.

Мне тем и горек мой сегодняшний удел —
покуда мнил себя судьей, в пророки метил,

каких сокровищ под ногами не заметил,
каких созвездий в небесах не разглядел!

ПОПЫТКА УТЕШЕНЬЯ

Все непреложней с годами, все чаще и чаще
я начинаю испытывать странное чувство,
словно я заново эти листаю страницы,
словно однажды уже я читал эту книгу.

Мне начинает все чаще с годами казаться
и все решительней крепнет во мне убежденье —
этих листов пожелтевших руками касаться
мне, несомненно, однажды уже приходилось.

Я говорю вам — послушайте, о, не печальтесь,
о, не скорбите безмерно о вашей потере —
ибо я помню,
 что где-то на пятой странице
вы все равно успокоитесь и обретете.

Я говорю вам — не следует так убиваться,
о, погодите, увидите, все обойдется —
ибо я помню,
 что где-то страниц через десять
вы напеваеете некий мотивчик веселый.

Я говорю вам — не надо заламывать руки,
хоть вам и кажется небо сегодня с овчину —
ибо я помню,
 что где-то на сотой странице
вы улыбаеетесь, как ничего не бывало.

Я говорю вам — я в этом могу поручиться,
я говорю вам — ручаюсь моей головою,
ибо воистину ведаю все, что случится
следом за тою и следом за этой главою.

Я и себе говорю — ничего, не печалься.
Я и себя утешаю — не плачь, обойдется.
Я и себе повторяю —
 ведь все это было,
было, бывало, а вот обошлось, миновало.

Я говорю себе — будут и горше страницы,
будут горчайшие, будут последние строки,
чтобы печалиться, чтобы заламывать руки —
да и ведь и это всего до страницы такой-то.

* * *

Меж двух небес
(начала и конца),
меж двух стихий
(как в кресле брадобрея —
меж двух зеркал),
стремительно старея,
живешь на этом тесном пятачке,
в двух зеркалах бесцельно повторяясь
и постепенно в них сходя на нет,
там, за чертой,
за гранью дней и лет,
последним звуком нисходящей гаммы.

Две бронзы. Две латуни. Два стекла.
Два тонких слоя ртутной амальгамы.
Вот тайна и развязка этой драмы.
Меж двух стихий
(начала и конца),
меж двух страстей
(как в кресле брадобрея —
меж двух зеркал)...
Гораций и Катулл,
Шекспир и Дант сидели в этом кресле.
Они ушли. Они навек воскресли
и в глубине зеркал остались жить.

Ну, что ж, мой друг,
приходит наше время.
Эй, брадобрей, побрить и освежить!..

И вдруг поймешь —
ты жизнь успел прожить,
и, задохнувшись
(годы пролетели),
вдруг ощутишь,
как твоего чела
легко коснулись вещие крыла
благословенной пушкинской метели...

Что рукопись издастся
и смогут все прочесть.

И что один приятель,
им преданный навек,
талантливый ваятель,
но бедный человек,

украсит ту могилу,
тот холмик некрутой,
надгробною фигурой,
гранитною плитой...

Посмертная страница.
Бессмертная строка.
Но все это хранится
в неизвестности пока.

Но вечно ждать готовы,
все ждут, что позовут,—
седеющие вдовы
надеждою живут.

Живут, свое отплавав.
Глотают стужу ртом.
Платонов и Булгаков,
мы встретимся потом.

Минуты этой ради
хранят они года
те общие тетради
их общего труда.

Хранят светло и нежно,
и все у них в былом.
Но вера и надежда
сидят за их столом.

* * *

Ну, что с того, что я там был.
Я был давно. Я все забыл.
Не помню дней. Не помню дат
Ни тех форсированных рек.

(Я неопознанный солдат.
Я рядовой. Я имярек.
Я меткой пули недолет.
Я лед кровавый в январе.
Я прочно впаян в этот лед—
я в нем, как мушка в янтаре.)

Но что с того, что я там был.
Я все избыл. Я все забыл.
Не помню дат. Не помню дней.
Названий вспомнить не могу.

(Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня.
Я бой на дальнем рубеже.
Я пламя Вечного огня
и пламя гильзы в блиндаже.)

Но что с того, что я там был,
в том грозном быть или не быть.
Я это все почти забыл.
Я это все хочу забыть.
Я не участвую в войне—
она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня.

(Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от той зимы, от тех снегов.
И с той землей, и с той зимой
уже меня не разлучить,
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.)

Но что с того, что я там был!..

ПОСЛАНИЕ ЮНЫМ ДРУЗЬЯМ

Я, побывавший там, где вы не бывали,
я, повидавший то, чего вы не видали,

я, уже там стоявший одной ногою,
я говорю вам — жизнь все равно прекрасна.

Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,
даже когда несносна, почти ужасна —
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.

Вот оглянусь назад — далека дорога.
Вот погляжу вперед — впереди немного.
Что же там позади? Города и страны.
Женщины были — Жанны, Марии, Анны.
Дружба была и верность. Вражда и злоба.
Комья земли стучали о крышку гроба.
Старец Харон над темною той рекою —
ласково так помахивал мне рукою —
дескать, иди сюда, ничего не бойся,
вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем...

Как я цеплялся жадно за каждый кустик!
Как я ногтями в землю впивался эту!
Нет, повторял в беспамятстве, не поеду!
Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться!

Ниточка жизни. Шарик, непрочно свитый.
Зыбкий туман надежды. Дымок соблазна.
Штопаннный, перештопаннный, мятый, битый,
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.

Да, говорю, прекрасна и бесподобна,
как там ни своевольна и ни строптивая,
ибо к тому же знаю весьма подробно,
что собой представляет альтернатива...

Робкая речь ручья. Перезвон капли.
Мартовской брагой дышат речные броды.
Лопнула почка. Птицы в лесу запели.
Вечный и мудрый круговорот природы.

Небо багрово-красно перед восходом.
Лес опустел. Морозно вокруг и ясно.
Здравствуй, мой друг воробушек,
с Новым годом!
Холодно, братец, а все равно — прекрасно!

НОВОГОДНЕЕ ПОСЛАНИЕ АРСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ТАРКОВСКОМУ

Я кончил книгу и поставил точку..

...И вот я завершил свой некий труд,
которым завершился некий круг—
я кончил книгу и поставил точку,—
и тут я вдруг

(хоть вовсе и не вдруг)

как раз и вспомнил эту Вашу строчку,
Арсений Александрович, мой друг
(эпитет с т а р ш и й не влезает в строчку,
не то бы я сказал, конечно, с т а р ш и й—
Вы знаете, как мне не по душе
то нынешнее модное пижонство,
то панибратство, то амикошонство,
то легкое уменье восклицать—
Марина-Анна, о, Марина-Анна,—
не чувствуя, как между М и А
рокошет Р, и там зияет рана,
горчайший знак бесчисленных утрат),
Арсений Александрович, мой брат,
мой старший брат по плоти и по крови
свободного российского стиха
(да и по той, по красной, что впиталась
навечно в подмосковные снега,
земную пробуравив оболочку),
итак, зачем, Вы спросите, к чему
сейчас я вспомнил эту Вашу строчку?
А лишь затем— сказать, что Вас люблю
и что покуда рано ставить точку,
что знаки препинанья вообще—
не наше дело, их расставит время—
знак восклицанья, или знак вопроса,
кавычки, точку или многоточье,
но это все когда-нибудь потом,
и пусть кто хочет думает о том,
а мы еще найдем о чем подумать...
Позвольте же поднять бокал за Вас,
за Ваше здравье и за Ваше имя,
где слово Агс—искусство,—как в шараде,
со словом сень соседствует недаром,
напоминая отзвук сотрясений,

стократно повторившихся в душе,
за Ваши рифмы и за Ваш рифмовник,
за Ваш письмовник и гербовник чести,
за Вас, родной словесности фонаришник,
святых теней бессменный атташе,
за Ваши арфы, флейты и фаготы,
за этот год

и за другие годы,
в которых жить и жить Вам вопреки
хитросплетеньям критиков лукавых,
чьи называть не станем имена.
Пускай себе. Не наше это дело.

* * *

Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже — как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление в книгу «Кинематограф»	3
Время слепых дождей	4
Воспоминанье об оранжевых абажурах	6
«Я медленно учился жить...»	7
«Живешь, не чувствуя вериг...»	7
Новый год у Дуная	8
Снег этого года	9
«Утро — вечер, утро — вечер, день и ночь...»	10
Квадратный человек	12
«Были смерти, рожденья, разлады, разрывы...»	13
Ялтинский домик	14
Сон о дороге	15
Иронический человек	17
Плач о господине Голядкине	18
Диалог у новогодней елки	20
«Я был приглашен в один дом...»	20
«Всего и надо, что взглядеться, — боже мой...»	22
Попытка утешенья	23
«Меж двух небес...»	24
Вдовы	25
«Ну, что с того, что я там был...»	26
Послание юным друзьям	27
Новогоднее послание Арсению Александровичу Тарковскому	29
«Каждый выбирает для себя...»	30

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давыдович

СОН О ДОРОГЕ

Стихи

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 21.03.89. Подписано к печати 23.05.89. А 08858.
Формат 70 × 108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Печать
офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Усл. кр.-отт. 1,58. Уч.-изд. л. 1,60.
Тираж 150000 экз. Зак. № 384. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография име-
ни В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП,
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.